#### Дом на песке[[1]](#footnote-1)

#### Ирина Владимировна Одоевцева

Лишневский смотрел из окна вагона на Париж. Дома, автобусы, трамваи, фабрики... Неужели он больше никогда не увидит всего этого? Неужели он уже не вернется сюда? Он сжал руки. Нет, я должен жить. Я не хочу умереть.

В окнах замелькали зеленые луга и деревья. Он устало закрыл глаза.

Да. Он не может умереть. Ведь если он умрет, его зароют на французском кладбище, во французскую землю. А он должен лежать в Петербурге, в Александро-Невской лавре, рядом с отцом и братом. Ведь это — последнее, что у него осталось.

Он давно решил так. Может быть, это сознание и хранило его до сих пор.

...И все-таки — воды Сены текли так успокоительно, что было трудно не броситься с моста, в магазинах продавались револьверы, а в аптеках можно достать веронал...[[2]](#footnote-2)

Он должен жить! Поэтому он и едет сейчас в Бретань. Там не то, что в Париже, там, он уверен, будет легче. Лишневский открыл глаза и закурил.

В сущности, самое страшное уже прошло. Теперь надо только не распускаться.

Лишневский поселился в пансионе Бо-Сежур, чистом белом доме под красной крышей, с аккуратным садом и тенистой площадкой.

Пансион был ветхозаветный.

Обедали вместе за длинным столом. Уже за жарким соседка Лишневского спрашивала его:

— А в теннис вы играете? Ах, как хорошо. У нас не хватает партнера. Как? И плаваете? Ивонна, Маргарита, слушайте — вот кто нас научит плавать.

Его новые знакомые — две сестры и их подруга — были жизнерадостные и милые.

Лишневский поводил с ними все время, играл в теннис, купался и гулял.

Через несколько дней отношения уже выяснились. Одна из сестер стала смотреть на него слишком пристально и неизвестно отчего краснеть. Ее звали Ивонна, ей было семнадцать лет.

Они вчетвером возвращались с прогулки.

— Который час?

Лишневский посмотрел на часы.

— Десять.

— Господи, как поздно. Пойдем дорогой мимо кладбища. Она короче.

— Слышите, соловей.

— Какой это соловей — это лягушка. Здесь нет соловьев.

Был теплый, темный, сырой вечер. Серп нового месяца блестел на правой стороне неба. За поворотом среди полей показались чугунные кресты и могильные холмы. Кладбище большое и бедное, огороженное только колючей проволокой.

— Я боюсь, — сказала Ивонна.

Лишневский взял ее за руку.

— Не надо бояться. Ведь я с вами.

Сзади раздался смех, и два светлых платья, шурша, пробежали мимо них.

— Ах, страшно, — крикнула Ивонна и, вырвав руку, бросилась в сторону.

Он нагнал ее. Она стояла у изгороди кладбища и тихо смеялась, выжидательно глядя на него.

Он поцеловал ее в щеку.

— Осторожно, не наткнитесь на проволоку, — сказала она, все еще смеясь.

Он неловко обнял ее. Она прижалась к нему.

— Вам больше не страшно, Ивонна?

— Нет.

Чугунные кресты были совсем близко. Стоило протянуть руку, чтобы дотронуться до них.

Она слегка отодвинулась.

— Идемте, а то поздно, — и посмотрела на него сбоку. — Какой вы странный. Я еще никогда не встречала русского. Вы очень забавный.

— Забавный? Я думаю, это не то слово. Но мы, русские, на своем месте только в России, за границей нам тяжело.

— Мне кажется, одинокому молодому человеку всюду тяжело.

Он промолчал.

— Скажите, кто ведет ваше хозяйство?

— У меня нет хозяйства. Я живу в отеле и обедаю в ресторане.

— А кто смотрит за вашим бельем?

Он рассмеялся.

— Никто не смотрит. Когда оно рвется, я его выбрасываю и покупаю новое.

— Ах, это ужасно. Мне очень жаль вас, — она протянула ему руку. — Хотя я француженка, но понимаю вас.

В пансионе их ждала новость. С последним поездом приехали два молодых англичанина. Не желая терять времени, они уже танцевали с сестрой Ивонны и ее подругой под граммофон.

Ивонна смотрела на Лишневского влюбленно и танцевала только с ним.

Когда наконец стали прощаться, она побежала на террасу за книгой. Лишневский пошел за ней. Ее руки обхватили его шею, и она поцеловала его в губы.

— Встаньте завтра в шесть. Мы одни уйдем купаться.

Они поднялись по лестнице.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Лишневский вошел в свою комнату.

«Какая прелесть эта Ивонна».

Он стал раздеваться.

«Нет, право, она прелесть. Кто смотрит за вашим бельем?»

Он улыбнулся. «Я, наверное, буду спать как убитый. Ведь я так устал. Всего семнадцать лет, и такая хорошенькая. Что она еще говорила?»

Он вытер лицо полотенцем. «Как приятно здесь. Вот бы влюбиться, тогда... Непременно встану завтра в шесть».

Он зевнул. «Я сейчас засну. Ведь я так устал. Я непременно засну». Он лег и потушил свет.

Ему показалось, что он засыпает, ни о чем не думая. Вернее, стараясь ни о чем не думать. Он почти засыпал. Но вдруг почувствовал, что опять, как всегда, воспоминания туг, а сна нет. Лишневский повернулся к стене и застонал.

...Всю эту весну его чувства были как бы раздвоены. Он уверял себя — все хорошо, все по-прежнему, ничего не изменилось. Она — его Лена — так же нежна, даже еще нежнее. Ничего не изменилось...

И все яснее с каждым днем сознавал — все изменилось. Он искал внешних признаков этой перемены, но не находил. И пытался успокоить себя. Глупости. Все идет по-прежнему.

...Да. Она нежна... Как будто еще нежнее. Но это какая-то «формальная нежность». Он так и думал — «формальная». И, едва успокоившись, едва уговорив себя, что она — та же, чувствовал — в ее улыбке, движении, взгляде — нет, не то, не то...

...Было жарко и душно. Начало июня в Париже. Трамваи, переполненные воскресной публикой.

Он пришел к ней, как всегда, в три часа. И все было как всегда.

— Хочешь чаю?

— Пожалуйста. Сегодня так жарко.

— Ах да! Я очень рада, что мы уедем послезавтра. Здесь становится невыносимо.

— Ты рада? Правда?

Она удивленно посмотрела на него.

— А ты сомневаешься?

— Да... Мне все кажется... — Он поднял ее за плечи. — Слушай, поклянись мне, что ты не бросишь меня...

— Зачем? Я никогда не клянусь.

— Нет, поклянись, поклянись. Я прошу тебя.

Она пожала плечами.

— Ну, хорошо. Клянусь.

Он снова обнял ее.

— Ты вся моя жизнь, — сказал он грустно. — Я так тебя люблю.

Улыбаясь, она высвободилась из его рук.

— Какой ты смешной!

Потом достала из картонки большую соломенную шляпу.

— Послушай, — в ее голосе была робость, — ты не будешь сердиться? Я обещала поехать пить чай с Львовым.

— Опять! — он встал. — Ты опять уходишь? Когда же конец этому?

— Но ведь мы уезжаем послезавтра. Мне надо проститься.

— Разве ты не можешь написать? И ведь ты видела его вчера.

Он опустила глаза.

— Это последний раз. Если ты хочешь, конечно, я не поеду, но...

— Нет, поезжай, пожалуйста. Не могу же я тебя держать взаперти.

Он думал, что она откажется. Но она стала быстро одеваться.

— Знаешь, там будет Арбузова. Она еще не видела моего нового платья. Пусть позавидует. Если бы не она, я бы не поехала. Мне с тобой гораздо веселее. Ну не сердись... Надень мне туфли.

...В половине восьмого Лишневский постучал в ее комнату. Ответа нет — еще не вернулась. Он ждет. Полчаса, час. Зачем он отпустил ее? Надо было не пускать. Хоть скандал сделать, но не пускать. Она была так рассеянна сегодня. О чем она думала? Глупости, она сейчас вернется — она вечно опаздывает.

Но она не возвращается. Он сидит в ресторане у окна и смотрит на улицу. Он уже не сердится. Разве он может на нее сердиться? Только бы скорее она приехала...

— Кофе? Нет, не надо.

Он снова стоит на улице. Она сейчас приедет. Не успеет он сосчитать до пятнадцати, как увидит ее. Раз, два, три, четыре... Из-за угла показывается автомобиль. Это она, ведь он знал, знал... Но автомобиль проезжает мимо.

Проходит еще полчаса. Зачем он отпустил ее? Где она? И что теперь делать? Ждать? Или ехать ее искать? Может быть, она там, в этом мерзком дансинге?..

...Он толкает дверь и прямо с улицы попадает в комнату, забитую танцующими. Грохот джаз-банда, табачный дым. Какая-то американка машет ему — подсаживайтесь. Лены нет. Он стоит и смотрит. Еще в пятницу они были здесь вместе. С тем длинным блондином она танцевала. Но где же она? Может быть, дома?

...Ее окно по-прежнему полуоткрыто и не освещено. Господи, что же это? Он ходит взад и вперед перед отелем. От фонаря до угла. — Ему кажется, что он обошел весь город...

И опять это отвратительное чувство раздвоенности. Глупости. Поехала ужинать или кататься... Нет — это конец.

Он садится в кафе на углу. Отсюда видно ее окно. Сонный гарсон приносит ему стакан теплого пива. Кафе пусто. Уже половина второго. В два часа кафе закрывается. Опять улица, закрытый отель, желтый фонарь...[[3]](#footnote-3)

...Светает. Он идет домой. От выпитого вина кружится голова. Неужели это Париж? Неужели это он, Лишневский, шагает по этим пустым, серым улицам? А Лена так и не вернулась...

На плас Пигаль[[4]](#footnote-4) сидит знакомый инженер с русской, накрашенной и не совсем молодой дамой.

— Что с тобой? Ты похож на мертвеца?

Дама протягивает ему руку.

— Не стоит так убиваться из-за любви. Я тоже не знаю, где мой муж, а вот не скучаю. Садитесь к нам. Мы вспоминаем наш Петербург... Давайте говорить о нашем Парадизе...[[5]](#footnote-5) — читает она нараспев...

...Он хотел встать в восемь часов, но старый будильник не позвонил, и он проснулся в полдень с тяжелой головой.

И снова ее отель, лестница, дверь в ее комнату. Он стучит. Ответа нет. Тогда он толкает дверь. В комнате беспорядок. На полу бумаги, пустой шкаф, с кровати снято одеяло. Ни сундука, ни чемодана... На столе вынуты из воды цветы...

Хозяин в бюро любезно улыбается:

— Да, мадам только что приезжала за вещами... Уехала, да... нет, не оставила ни адреса, ни письма...

...Он бежит по улице, держа шляпу в руке... Но ведь все равно — конец... Нет, все еще можно поправить. Он скажет ей. Она поймет. Только бы найти ее...

...Муж Арбузовой, ее подруги, открывает ему дверь.

— Да, Елена Сергеевна ночевала у нас. Ушла куда-то с женой... А я работаю. Хотите посмотреть мою фабрику? Я делаю батики. Вот так — беру кусок шелка, натягиваю...

...Снова он на улице. И сразу встречает ее. Она идет с подругой. Вдруг замечает его и краснеет. Протягивает руку — «здравствуй, Миша». И еще больше краснеет. Машинально он целует ее белую перчатку.

— Прости, что я не написала тебе... Я не знала, что написать... Я думала, ты сам поймешь...

Он смотрит на нее и видит как-то особенно отчетливо ее волосы, платье, угловатые плечи.

— Лена, ты клялась мне...

И самое невыносимое воспоминание — ее жалкие бездушные глаза, ее растерянные, ничего не значащие слова:

— Простимся... Я не могу так... Я хочу жить... Останемся друзьями...

Лишневский снова застонал и снова, как всегда, вспомнил Петербург. Он шел по грязной Бассейной. Это было лето 19-го года. Около рынка сновали мальчишки-папиросники. Бабы предлагали лепешки и пирожки. Какая-то старушка в шляпе, поднявшись на носки, таинственно шепнула ему в ухо:

— Старорежимные карандаши, — и, оглянувшись испуганно, прибавила: — продаю.

Лишневский перешел на другую сторону. Там, выстроившись в ряд и повесив вещи на решетку сквера, стояли торговки. Большинство из них были дамы, бабы продавали на той стороне, около рынка. По тротуару ходили покупатели, прицениваясь к вещам. Лишневский торопился и с трудом пробирался сквозь толпу. Вдруг он увидел Елену Сергеевну. Она стояла в голубом ситцевом платье, прислоняясь к решетке, с большим белым веером в руках. Она покраснела. Ей было неприятно, что он видит ее здесь. Он не знал, кланяться ли ей или сделать вид, что не заметил ее. Но она улыбнулась и протянула ему руку.

— Здравствуйте. Как мы давно не виделись. А я торгую.

Она отставила правую ногу, должно быть, желая ее спрятать. Он невольно взглянул вниз — на ней были черные, сильно залатанные туфельки.

Он тоже покраснел.

— И хорошо идет торговля? — спросил он как можно естественнее.

— Нет, не очень. Еще ничего не купили сегодня. Я вот продаю свой веер. Мне его страшно жаль.

Она раскрыла веер и стала им медленно обмахиваться. Белые легкие перья заколыхались в пыльном воздухе.

— Я где-то читала стихи. Кажется, перевод с китайского:

Мой белый веер так тихо веял

Нежней жасминовых ветвей.

Мой белый веер, печальный веер,

Который был душой моей.

И она смотрела на Лишневского поверх дрожащих страусовых перьев. Лицо ее стало мечтательным и грустным.

— Я очень люблю балы, — сказала она.

Мимо них два раза прошел матрос, пристально глядя на веер, потом спросил:

— Сколько хотите, гражданка?

— Тысячу.

— Дороговато. А нельзя ли уступить?

— Нет. Настоящая слоновая кость.

Она улыбнулась Лишневскому:

— Идите, вы мешаете мне торговать. Не забывайте нас. Мы живем по-прежнему на Кирочной. И всегда дома по вечерам.

Лишневский поклонился. На углу он оглянулся. Она стояла, все так же обмахиваясь веером, глядя поверх людей и домов в небо. Матрос в нерешительности топтался перед ней.

И потом уже Лишневский никак не мог забыть, как она стояла на грязной улице в ситцевом платье, в залатанных туфлях, с белым веером. И ему казалось, что если бы он не видел ее в то утро и если бы не так колыхались белые перья, он не мучился бы сейчас.

Он поднялся на локте и зажег свет: все равно не заснуть.

Она вошла не постучав.

— Здравствуй, Миша. Одевайся скорее. Чудная погода. Идем гулять.

— Лена, — мог он только сказать, задыхаясь. — Ты?.. Когда ты приехала?

Она поцеловала его.

— Только что.

— Отчего... — начал он, но она закрыла ему рот ладонью.

— Нет, нет. Об этом потом. Теперь одевайся. Ну же, скорей.

Они вышли в сад. На теннисной площадке стояла Ивонна, удивленно глядя на них. Он не поклонился ей. Он даже не помнил, знаком ли он с ней.

Лена взяла его под руку.

— Мы к морю?

— Да, — он открыл калитку. — Вот по этой улице.

Она покачала головой:

— Нет, сюда. Разве ты не знаешь этой дороги?

Она вывела его через сосновый лес к морю. Он еще никогда не был здесь, и море показалось ему совсем новым. Это и не было море, а только бухта. Вода зеленела, спокойная и глубокая. Берег был песчаный, а на дюнах стояли сосны. Совсем как в Балтийском заливе.

От ветра ее широкое голубое платье трепалось, как флаг. Короткие светлые волосы стали сиянием вокруг ее лица.

— Лена... Какая ты... Еще гораздо лучше, чем я думал.

— Я люблю тебя, Миша.

— Любишь?

— Люблю.

— Навсегда?

— Навсегда.

Он на минуту закрыл глаза. Голова его кружилась.

— Но как ты могла?

— Нет, нет, потом. Я все расскажу тебе. Ты поймешь.

— Навсегда?

— Навсегда.

Солнце поднялось выше. Вода стала еще зеленее.

— Лена, я так счастлив. Слишком счастлив. Вот взмахну руками и улечу.

— Ах, нет. Не надо. Кто знает, как там в небе, а здесь на земле так хорошо.

Она подняла валявшуюся на песке детскую лопатку.

— Давай строить себе дом.

Он помогал ей, и они выстроили из песка маленький дом и устроили сад из морских водорослей.

— Теперь смотри, — сказала она серьезно. — Это наш дом. Мы живем в Версале. Ты вернулся со службы домой и входишь в наш сад. Видишь, какие у нас цветы? Это я ухаживаю за ними. Слышишь, как шумят липы? Ты входишь сюда, в прихожую, я бегу тебе навстречу. Потом идем сюда, в гостиную, и садимся тут, у окна. Комната маленькая, но солнечная, мебель белая. Мы ее купили на выплату, и она нам очень нравится. О чем ты говоришь? Ты очень скучал весь день без меня. Но ведь теперь мы вместе. А в кухне на плите у меня кипит суп.

Он смотрел на дом и видел все, о чем она говорила. Но она вдруг ударила лопаткой по крышке дома и рассмеялась.

— Зачем ты разрушила наш дом, Лена?

— Не надо строить дома на песке.

Она снова улеглась возле него и стала смотреть в небо.

— Навсегда?

— Навсегда.

— Лена, ты еще не знаешь...

Она подняла голову и пристально посмотрела на него.

— Я все знаю.

Потом, помолчав, потянулась.

— Послушай, Миша, я голодна. Тут есть маленький ресторан. Пойдем завтракать.

Ресторан был похож на рыбачью хижину, но внутри было светло и нарядно. Лакей подал лангуста. Он не замечал вкуса еды, даже не почувствовал холода мороженого. Как будто глотал воздух. «Это от волнения», — подумал он.

Они снова бродили у моря. Стало уже смеркаться. Как быстро день прошел. Когда они вернулись, окна пансиона были освещены, а в саду тихо и пусто.

Она взяла его за руку.

— Подожди. Не надо еще домой. Пойдем в цветник.

— Но здесь нет цветника.

— Как нет? А это?

Цветник был большой и пестрый. Цветы росли широкими полосами: розовые гвоздики, лиловые левкои, красные розы. Посередине был фонтан.

Она вошла в цветник и стала рвать цветы, потом села возле него на скамейку.

— Посидим тут.

На прозрачном синем небе медленно поднималась круглая желтая луна.

— Слышишь, Миша, соловей?

— Нет, это лягушки. Здесь нет соловьев.

Она подняла руку и показала на дерево над их головами. На ветке сидел маленький серый соловей. Горлышко его надувалось и трепетало.

— Видишь?

Наконец они вернулись в дом. Они никого не встретили. Она отперла дверь. Он запомнил номер двери — 25.

В открытое окно светила луна. Широкая белая полоса ложилась на пол. В саду все еще пел соловей.

— Навсегда?

— Навсегда.

В окно по-прежнему падал лунный свет. Она приподнялась и села. Рубашка сползла с ее плеча.

— Теперь я расскажу тебе.

— Нет, не надо. Потом. Завтра...

Он обнял ее, и голова ее снова опустилась на подушку. Он глубоко вздохнул и на мгновенье открыл глаза. Лицо ее было бледно и измучено. И ему показалось, что над ней, совсем как когда-то на Бассейной, колышатся белые страусовые перья.

Рассвет... В открытое окно тянуло холодом.

— Иди к себе.

Он нагнулся и поцеловал ее волосы. Губы ее зашевелились, но он ничего не услышал.

«Спит».

Он осторожно спустился к себе, лег в кровать и сейчас же с наслаждением почувствовал, что засыпает.

Он проснулся поздно. Лена, должно быть, встала. Бреясь, он выглянул в окно — не мелькнет ли в саду ее голубое платье. Нет, должно быть, еще спит.

Он вышел на веранду и сел, ожидая ее. Он был спокоен и счастлив. Ведь теперь все хорошо. Навсегда.

Вышла горничная.

— Monsieur еще не пил кофе? Принести сюда?

— Нет, я жду. Скажите, дама из № 25 еще не выходила?

— Я не понимаю. Какая дама?

— Та, что приехала вчера.

— Monsieur ошибается. Вчера приехали только два англичанина.

— Но дама из № 25?

— Нет, monsieur... Никакой дамы... И № 25 нет. У нас всего девятнадцать.

Лишневский провел рукой по лбу.

— Ах так... — проговорил он с усилием. — Значит... Значит, я ошибся.

...Он сошел в сад. К нему подбежала Ивонна с простыней.

— Я вас жду с шести часов. Где же вы были? Идем купаться?

— Нет. Я сейчас не могу. Извините.

И он прошел мимо.

Она удивленно и обиженно смотрела ему вслед. Что с ним? С ума сошел?

Лишневский шел по дороге. Проехала тележка. Прошумел автомобиль. Маленький пастух гнал овец, играл на дудке. Ветер дул в лицо. Какой свежий — с моря.

Лишневский остановился перед оградой кладбища.

— Ах вот я куда пришел!

Он вошел на кладбище и сел на могильный камень. Камень был сухой и горячий. Ивы легко шумели. По небу бежали облака-барашки. «Совсем как в России!» — подумал он. Прилетела ворона и, сев на дерево, глухо каркнула. «Совсем русская ворона и так же каркает! — он улыбнулся. — В сущности, не все ли равно, где лежать? Все это выдумки людей, которым еще рано умирать...»

1. Первая публикация: Звено. 1926. 23 мая. № 173. С. 7—9; 30 мая. № 174. С. 6—7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Веронал — разновидность снотворного. [↑](#footnote-ref-2)
3. Опять улица, закрытый отель, желтый фонарь… — аллюзия на стихотворение А. Блока «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» (1912). [↑](#footnote-ref-3)
4. площадь Пигаль на севере Парижа, недалеко от Монмартра. Названа в честь скульптора Жан‑Батиста Пигаля (1714—1785). В конце XIX в., когда поблизости были открыты кабаре «Ле Ша Нуар» и «Мулен Руж», район Пигаль получил репутацию богемного. Кроме того, в районе Пигаль находились многочисленные бордели, низкопробные заведения и т. п. [↑](#footnote-ref-4)
5. Давайте говорить о нашем Парадизе… — строчка из стихотворения Михаила Струве, посвященного Ольге Глебовой‑Судейкиной:

   А здесь у нас тепличный душный воздух,

   И в газовых волнах французские духи.

   Здесь электричество нам заменяют звезды

   И черный саксофон преобразил стихи.

   Но вот, в Лютецию, где от лиловой краски

   Измученным глазам уже раскрыться лень.

   Вы белым Ангелом слетели, Ярославским,

   Золотокудрый и голубоглазый день.

   Напор зеленых льдов и светлых облак ризы,

   Все сразу вспомнилось в бесснежной толкотне.

   Давайте говорить о нашем Парадизе,

   Где было сладко вам, где было сладко мне.

   (Декабрь 1925) [↑](#footnote-ref-5)